

В.Г. Короленко



*История моего  
современника*



Владимир Короленко  
**История моего современника**

«Public Domain»

1921

## **Короленко В. Г.**

История моего современника / В. Г. Короленко — «Public Domain», 1921

«История моего современника» В.Г.Короленко (1853-1921) - итоговая книга писателя, в которой отразились социально-политические и нравственные искания его поколения. В ней автор выступает как художник, публицист и общественный деятель. Свои воспоминания Короленко довел до приезда из сибирской ссылки в Нижний Новгород, то есть до 1885 года; они захватывают шестидесятые, семидесятые и начало восьмидесятых годов XIX столетия.

© Короленко В. Г., 1921

© Public Domain, 1921

# Содержание

От автора	6
Часть первая	7
I	7
II	11
III	16
IV	21
V	25
Конец ознакомительного фрагмента.	30
Комментарии	

# **Владимир Галактионович Короленко**

## **История моего современника. Книга первая**

В. Г. Короленко. Собрание сочинений в десяти томах.  
Том пятый. История моего современника М., ГИХЛ, 1954  
Подготовка текста и примечаний С. В. Короленко  
OCR Ловецкая Т. Ю.

## От автора

В этой книге я пытаюсь вызвать в памяти и оживить ряд картин прошлого полу столетия, как они отражались в душе сначала ребенка, потом юноши, потом взрослого человека. Раннее детство и первые годы моей юности совпали с временем освобождения. Середина жизни протекала в период темной, сначала правительственной, а потом и общественной реакции и среди первых движений борьбы. Теперь я вижу многое из того, о чем мечтало и за что боролось мое поколение, врывающимся на арену жизни тревожно и бурно. Думаю, что многие эпизоды из времен моих ссыльных скитаний, события, встречи, мысли и чувства людей того времени и той среды не потеряли и теперь интереса самой живой действительности. Мне хочется думать, что они сохранят еще свое значение и для будущего. Наша жизнь колеблется и вздрагивает от острых столкновений новых начал с отжившими, и я надеюсь хоть отчасти осветить некоторые элементы этой борьбы.

Но ранее мне хотелось привлечь внимание читателей к первым движениям зарождающегося и растущего сознания. Я понимал, что мне будет трудно сосредоточиться на этих далеких воспоминаниях под грохот настоящего, в котором слышатся раскаты надвигающейся грозы, но я не представлял себе, до какой степени это будет трудно.

Я пишу не историю моего времени, а только историю одной жизни в это время, и мне хочется, чтобы читатель ознакомился предварительно с той призмой, в которой оно отражалось... А это возможно лишь в последовательном рассказе. Детство и юность составляют содержание этой первой части.

Еще одно замечание. Эти записки не биография, потому что я не особенно заботился о полноте биографических сведений; не исповедь, потому что я не верю ни в возможность, ни в полезность публичной исповеди; не портрет, потому что трудно рисовать собственный портрет с ручательством за сходство. Всякое отражение отличается от действительности уже тем, что оно отражение; отражение заведомо неполное – тем более. Оно всегда, если можно так выразиться, гуще отражает избранные мотивы, а потому часто, при всей правдивости, привлекательнее, интереснее и, пожалуй, чище действительности.

В своей работе я стремился к возможно полной исторической правде, часто жертвуя ей красивыми или яркими чертами правды художественной. Здесь не будет ничего, что мне не встречалось в действительности, чего я не испытал, не чувствовал, не видел. И все же повторяю: я не пытаюсь дать собственный портрет. Здесь читатель найдет только черты из «истории моего современника», человека, известного мне ближе всех остальных людей моего времени...<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Предисловие написано в конце 1905 года и предпослано первым главам «Истории моего современника», появившимся в январской книжке «Современных записок» в 1906 году.

## Часть первая Раннее детство

### I Первые впечатления бытия

Я помню себя рано, но первые мои впечатления разрознены, точно ярко освещенные островки среди бесцветной пустоты и тумана.

Самое раннее из этих воспоминаний – сильное зрительное впечатление пожара. Мне мог идти тогда второй год<sup>2</sup>, но я совершенно ясно вижу и теперь языки пламени над крышей сарая во дворе, странно освещенные среди ночи стены большого каменного дома и его отсвечивающие пламенем окна. Помню себя, тепло закутанного, на чьих-то руках, среди кучки людей, стоявших на крыльце. Из этой неопределенной толпы память выделяет присутствие матери, между тем как отец, хромым, опираясь на палку, подымается по лестнице каменного дома во дворе напротив, и мне кажется, что он идет в огонь. Но это меня не пугает. Меня очень занимают мелькающие, как головешки, по двору каски пожарных, потом одна пожарная бочка у ворот и входящий в ворота гимназист с укороченной ногой и высоким наставным каблуком. Ни страха, ни тревоги я, кажется, не испытывал, связи явлений не устанавливал. В мои глаза в первый еще раз в жизни попадало столько огня, пожарные каски и гимназист с короткой ногой, и я внимательно рассматривал все эти предметы на глубоком фоне ночной тьмы. Звуков я при этом не помню: вся картина только безмолвно переливается в памяти плавучими отсветами багрового пламени.

Вспоминаю, затем, несколько совершенно незначительных случаев, когда меня держат на руках, унимают мои слезы или забавляют. Мне кажется, что я вспоминаю, но очень смутно, свои первые шаги... Голова у меня в детстве была большая, и при падениях я часто стучался ею об пол. Один раз это было на лестнице. Мне было очень больно, и я громко плакал, пока отец не утешил меня особым приемом. Он побил палкой ступеньку лестницы, и это доставило мне удовлетворение. Вероятно, я был тогда в периоде фетишизма и предполагал в деревянной доске злую и враждебную волю. И вот ее бьют за меня, а она даже не может уйти... Разумеется, эти слова очень грубо переводят тогдашние мои ощущения, но доску и как будто выражение ее покорности под ударами вспоминаю ясно.

Впоследствии то же ощущение повторилось в более сложном виде. Я был уже несколько больше. Был необыкновенно светлый и теплый лунный вечер. Это вообще первый вечер, который я запомнил в своей жизни. Родители куда-то уехали, братья, должно быть, спали, нянька ушла на кухню, и я остался с одним только лакеем, носившим неблагозвучное прозвище Гандыло. Дверь из передней на двор была открыта, и в нее откуда-то, из озаренной луною дали, неслось рокотание колес по мощеной улице. И рокотание колес я тоже в первый раз выделил в своем сознании как особое явление, и в первый же раз я не спал так долго... Мне было страшно, – вероятно, днем рассказывали о ворах. Мне показалось, что наш двор при лунном свете очень странный и что в открытую дверь со двора непременно войдет «вор». Я как будто знал, что вор – человек, но вместе он представлялся мне и не совсем человеком, а каким-то человекообразным таинственным существом, которое сделает мне зло уже одним своим внезапным появлением. От этого я вдруг громко заплакал.

---

<sup>2</sup> Мне мог идти тогда второй год – Владимир Галактионович родился 15 июля (ст. ст.) 1853 года в Житомире, Волынской губ.

Не знаю уж по какой логике, – но лакей Гандыло опять принес отцовскую палку и вывел меня на крыльцо, где я, – быть может, по связи с прежним эпизодом такого же рода, – стал крепко бить ступеньку лестницы. И на этот раз это опять доставило удовлетворение; трусость моя прошла настолько, что еще раз два я бесстрашно выходил наружу уже один, без Гандыла, и опять колотил на лестнице воображаемого вора, упиваясь своеобразным ощущением своей храбрости. На следующее утро я с увлечением рассказывал матери, что вчера, когда ее не было, к нам приходил вор, которого мы с Гандылом крепко побили. Мать снисходительно поддакивала. Я знал, что никакого вора не было и что мать это знает. Но я очень любил мать в эту минуту за то, что она мне не противоречит. Мне было бы тяжело отказаться от того воображаемого существа, которого я сначала боялся, а потом положительно «чувствовал», при странном лунном сиянии, между моей палкой и ступенькой лестницы. Это не была зрительная галлюцинация, но было какое-то упоение от своей победы над страхом...

Еще стоит островком в моей памяти путешествие в Кишинев к деду с отцовской стороны...<sup>3</sup> Из этого путешествия я помню переправу через реку (кажется, Прут), когда наша коляска была установлена на плоту и, плавно колыхаясь, отделилась от берега, или берег отделился от нее, – я этого еще не различал. В то же время переправлялся через реку отряд солдат, причем, мне помнится, солдаты плыли по двое и по трое на маленьких квадратных плотиках, чего, кажется, при переправах войск не бывает... Я с любопытством смотрел на них, а они смотрели в нашу коляску и говорили что-то мне непонятное... Кажется, эта переправа была в связи с севастопольской войной...<sup>4</sup>

В тот же вечер, вскоре после переезда через реку, я испытал первое чувство резкого разочарования и обиды... Внутри просторной дорожной коляски было темно. Я сидел у кого-то на руках впереди, и вдруг мое внимание привлекла красноватая точка, то вспыхивавшая, то угасавшая в углу, в том месте, где сидел отец. Я стал смеяться и потянулся к ней. Мать говорила что-то предостерегающее, но мне так хотелось ближе ознакомиться с интересным предметом или существом, что я заплакал. Тогда отец подвинул ко мне маленькую красную звездочку, ласково притаившуюся под пеплом. Я потянулся к ней указательным пальцем правой руки; некоторое время она не давалась, но потом вдруг вспыхнула ярче, и меня внезапно обжег резкий укус. Думаю, что по силе впечатления теперь этому могло бы равняться разве крепкое и неожиданное укушение ядовитой змеи, притаившейся, например, в букете цветов. Огонек казался мне сознательно хитрым и злым. Через два – три года, когда мне вспомнился этот эпизод, я прибежал к матери, стал рассказывать и заплакал. Это были опять слезы обиды...

Подобное же разочарование вызвало во мне первое купание. Река произвела на меня чарующее впечатление: мне были новы, странны и прекрасны мелкие зеленоватые волны зыби, врывающиеся под стенки купальни, и то, как они играли блестками, осколками небесной синевы и яркими кусочками как будто изломанной купальни. Все это казалось мне весело, живо, бодро, привлекательно и дружелюбно, и я упрашивал мать поскорее внести меня в воду. И вдруг – неожиданное и резкое впечатление не то холода, не то ожога... Я громко заплакал и так забился на руках у матери, что она чуть меня не выронила. Купание мое на этот раз так и не состоялось. Пока мать плескалась в воде с непонятным для меня наслаждением, я сидел на скамье, надувшись, глядел на лукавую зыбь, продолжавшую играть так же заманчиво осколками неба и купальни, и сердился... На кого? Кажется, на реку.

Это были первые разочарования: я кидался навстречу природе с доверием незнания, она отвечала стихийным бесстрашием, которое мне казалось сознательно враждебным...

---

<sup>3</sup> ...деду с отцовской стороны... – Афанасий Яковлевич Короленко – дед Владимира Галактионовича. Родился в 1787 году, умер около 1860 года в Бессарабии. Служил в таможенном ведомстве. Женат был на польке, Еве Мальской.

<sup>4</sup> ...в связи с Севастопольской войной – Восточная (или Крымская) война 1853–1856 годов.

Еще одно из тех первичных ощущений, когда явление природы впервые остается в сознании выделенным из остального мира, как особое и резко законченное, с основными его свойствами. Это – воспоминание о первой прогулке в сосновом бору. Здесь меня положительно заворочил протяжный шум лесных верхушек, и я остановился, как вкопанный, на дорожке. Этого никто не заметил, и все наше общество пошло дальше. Дорожка в нескольких саженях впереди круто опускалась книзу, и я глядел, как на этом изломе исчезали сначала ноги, потом туловища, потом головы нашей компании. Я ждал с жутким чувством, когда исчезнет последней ярко – белая шляпа дяди Генриха<sup>5</sup>, самого высокого из братьев моей матери, и, наконец, остался один... Я, кажется, чувствовал, что «один в лесу» – это, в сущности, страшно, но, как заколдованный, не мог ни двинуться, ни произнести звука и только слушал то тихий свист, то звон, то смутный говор и вздохи леса, сливавшиеся в протяжную, глубокую, нескончаемую и осмысленную гармонию, в которой улавливались одновременно и общий гул, и отдельные голоса живых гигантов, и колыхания, и тихие поскрипывания красных стволов... Все это как бы проникало в меня захватывающей могучей волной... Я переставал чувствовать себя отдельно от этого моря жизни, и это было так сильно, что, когда меня хватились и брат матери вернулся за мной, то я стоял на том же месте и не откликнулся... Подходившего ко мне дядю, в светлом костюме и соломенной шляпе, я видел точно чужого, незнакомого человека во сне...

Впоследствии и эта минута часто вставала в моей душе, особенно в часы усталости, как первообраз глубокого, но живого покоя... Природа ласково манила ребенка в начале его жизни своей нескончаемой, непонятной тайной, как будто обещающая где-то в бесконечности глубину познания и блаженство разгадки...

Как, однако, грубо наши слова выражают наши ощущения... В душе есть тоже много непонятного говора, который не выразить грубыми словами, как и речи природы... И это именно то, где душа и природа составляют одно...

Все это разрозненные, отдельные впечатления полусознательного существования, не связанные как будто ничем, кроме личного ощущения. Последним из них является переезд на новую квартиру... И даже не переезд (его я не помню, как не помню и прежней квартиры), а опять первое впечатление от «нового дома», от «нового двора и сада». Все это показалось мне новым миром, но странно: затем это воспоминание выпадает из моей памяти. Я вспомнил о нем только уже через несколько лет, и когда вспомнил, то даже удивился, так как мне представлялось в то время, что мы жили в этом доме вечно и что вообще в мире никаких крупных перемен не бывает. Основным фоном моих впечатлений за несколько детских лет является бессознательная уверенность в полной законченности и неизменяемости всего, что меня окружало. Если бы я имел ясное понятие о творении, то, вероятно, сказал бы тогда, что мой отец (которого я знал хромым) так и был создан с палкой в руке, что бабушку бог сотворил именно бабушкой, что мать моя всегда была такая же красивая голубоглазая женщина с русой косой, что даже сарай за домом так и явился на свет покосившимся и с зелеными лишаями на крыше. Это было тихое, устойчивое нарастание жизненных сил, плавно уносившее меня вместе с окружающим мирком, а берега стороннего необъятного мира, по которым можно было бы заметить движение, мне тогда не были видны... И сам я, казалось, всегда был таким же мальчиком с большой головой, причем старший брат<sup>6</sup> был несколько выше меня, а младший<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> ...дяди Генриха – Генрих Иосифович Скуревич – юрист, судебный следователь («дядя Генрих» в рассказе «Ночь»). Умер в начале 70-х годов.

<sup>6</sup> ...старший брат – Юлиан Галактионович Короленко. Родился 16 февраля 1851 года, умер 25 ноября 1904 года. Учился сначала в житомирской, а затем в ровенской гимназии, но курса не окончил. В середине 70-х годов переехал в Петербург, где занимался корректорским трудом. Имел знакомства с участниками народнического движения и оказывал им некоторые услуги. 4 марта 1879 года был арестован вместе с братьями и заключен в Литовский замок, но 11 мая того же года освобожден и оставлен в Петербурге под негласным надзором полиции. Впоследствии жил в Москве, где в течение многих лет состоял корректором «Русских ведомостей» и доставлял в эту газету заметки для отдела московской хроники. Юлиан Галактионович обладал литературными способностями. В ранней молодости он увлекся писанием стихов, переводами и корреспондентской

ниже... И эти взаимные отношения должны были остаться навсегда... Мы говорили иной раз: «когда мы будем большими», или: «когда мы умрем», но это была глупая фраза, пустая, без живого содержания...

Однажды утром мой младший брат, который и засыпал, и вставал раньше меня, подошел к моей постели и сказал с особенным выражением в голосе:

- Вставай, скорей... Что я тебе покажу!
- Что такое?
- Увидишь. Скорей, я ждать не стану.

И он опять ушел на двор с видом серьезного человека, не желающего терять время. Я торопливо оделся и вышел за ним. Оказалось, что какие-то незнакомые нам мужики совершенно разрушили наше парадное крыльцо. От него оставалась куча досок и разной деревянной гнили, а выходная дверь странным образом висела высоко над землей. А главное – под дверью зияла глубокая рана из облупленной штукатурки, темных бревен и свай... Впечатление было резко, отчасти болезненно, но еще более поразительно. Брат стоял неподвижно, глубоко заинтересованный, и провожал глазами каждое движение плотников. Я присоединился к его безмолвному созерцанию, а вскоре к нам обоим присоединилась и сестра<sup>8</sup>. И так мы простояли долго, ничего не говоря и не двигаясь. Дня через три – четыре новое крыльцо было готово на месте старого, и мне положительно казалось, что физиономия нашего дома совершенно изменилась. Новое крыльцо было явно «приставлено», тогда как старое казалось органической частью нашего почтенного цельного дома, как нос или брови у человека.

А главное – в душе отложилось первое впечатление «изнанки» и того, что под этой гладко выстроганной и покрашенной поверхностью скрыты сырые, изъеденные гнилью сваи и зияющие пустоты...

---

деятельностью (см. в настоящем томе главу XXIX «Мой старший брат делается писателем»). Перевел вместе с Владимиром Галактионовичем (за общей подписью Кор-о) книгу Мишле «Loiseau» («Птица», изд. Н. В. Вернадского, Петербург, 1878). Владимир Галактионович ценил литературные способности брата и старался впоследствии побудить его к более серьезной литературной работе. В одном из писем в 1886 году В. Г. писал брату: «Мне приходит вопрос, почему бы тебе не присоединить к своим занятиям и литературу...» «Я все не могу забыть, что ведь первые толчки мысли, направившие меня по этому пути, я получил от тебя же, ты очень долго шел в этом направлении впереди меня, и я отлично помню, как некоторые из твоих мыслей, твои аргументы в горячих „харалужских“ спорах поднимали во мне целые вереницы новых идей. Литературные способности у тебя несомненны, и я думаю, теперь все еще можно ими воспользоваться». Однако, оставив довольно рано свои литературные увлечения, Юлиан Галактионович более к ним не возвращался.

<sup>7</sup> ...младший – Илларион Галактионович Короленко (семейное прозвище его было «Перец», «Перчик»). Родился 21 октября 1854 года, умер 25 ноября 1915 года. Учился в ровенской реальной гимназии, а затем в петербургском строительном училище. В молодости занимался корректорским трудом. Готовился «идти в народ» и с этой целью обучался слесарному ремеслу. В 1879 году был одновременно с Владимиром Галактионовичем арестован и выслан в Глазов, Вятской губ., где отбывал административную ссылку в течение пяти лет. Живя в Глазове, занимался слесарным трудом, работая в организованной им с товарищем мастерской (см. об этом кн. II «Истории моего современника», главу «Жизнь в Глазове»). По возвращении из ссылки в конце 1884 года жил в Нижнем Новгороде, работая кассиром на пароходной пристани. Впоследствии был инспектором Северного страхового общества, в связи с чем много разъезжал. Между прочим жил в Астрахани, был знаком с Н. Г. Чернышевским, которому помогал в составлении указателя к его переводу «Всеобщей истории» Вебера. При посредстве Иллариона Галактионовича В. Г. Короленко познакомился с Чернышевским. Жил он и в Сибири, где у него было много связей среди политических ссыльных. Последние годы жизни провел на Кавказе, в Джанхоте, близ Геленджика. С братом Илларионом Владимир Галактионович был особенно дружен с самых ранних лет; впоследствии он старался отразить его образ в двух рассказах, посвященных воспоминаниям детства – «Ночью» и «Парадокс».

<sup>8</sup> ...присоединилась и сестра. – У В. Г. Короленко были две сестры. Старшая из них – Мария Галактионовна (Владимир Галактионович называл ее «Машинка») – родилась 7 октября 1856 года, умерла 8 апреля 1917 года. Окончила Екатерининский институт в Москве, затем училась на акушерских курсах в Петербурге. Вышла замуж за студента Военно-хирургической академии Николая Александровича Лошкарева и в 1879 году последовала за ним в ссылку, в Красноярск. По возвращении из ссылки семья Лошкаревых прожила несколько лет в Нижнем-Новгороде. Вторая сестра В. Г. Короленко – Эвелина Галактионовна родилась 20 января 1861 года, умерла в сентябре 1905 года. Училась в гимназии и затем окончила в Петербурге акушерские курсы. Когда в 1879 году почти все члены семьи Короленко были отправлены в ссылку, Эвелина Галактионовна, нуждаясь в заработке, занялась корректурой (привычный труд в семье Короленко) и в 1882 году вышла замуж за товарища по работе, Михаила Ефимовича Никитина.

## II Мой отец<sup>9</sup>

По семейному преданию, род наш шел от какого-то миргородского казачьего полковника<sup>10</sup>, получившего от польских королей гербовое дворянство. После смерти моего деда отец, ездивший на похороны, привез затейливую печать, на которой была изображена ладья с двумя собачьими головами на носу и корме и с зубчатой башней посередине. Когда однажды мы, дети, спросили, что это такое, то отец ответил, что это наш «герб» и что мы имеем право припечатывать им свои письма, тогда как другие люди этого права не имеют. Называется эта штука по – польски довольно странно: «Korabl i Lodzia» (ковчег и ладья), но какой это имеет смысл, сам отец объяснить нам не может; пожалуй, и никакого смысла не имеет... А вот есть еще герб, так тот называется проще: «pchła na bębenku hopki tnie»<sup>11</sup>, и имеет более смысла, потому что казаков и шляхту в походах сильно кусали блохи... И, взяв карандаш, он живо набросал на бумаге блоху, отплясывающую на барабане, окружив ее щитом, мечом и всеми гербовыми атрибутами. Рисовал он порядочно, и мы смеялись. Таким образом, к первому же представлению о наших дворянских «клейнодах» отец присоединил оттенок насмешки, и мне кажется, что это у него было сознательно. Мой прадед, по словам отца, был полковым писарем, дед – русским чиновником, как и отец. Крепостными душами и землями они, кажется, никогда не владели... Восстановить свои потомственно – дворянские права отец никогда не стремился, и, когда он умер, мы оказались «сыновьями надворного советника», с правами беспоместного служилого дворянства, без всяких реальных связей с дворянской средой, да, кажется, и с какой бы то ни было другой.

Образ отца сохранился в моей памяти совершенно ясно: человек среднего роста, с легкой склонностью к полноте. Как чиновник того времени, он тщательно брился; черты его лица были тонки и красивы: орлиный нос, большие карие глаза и губы с сильно изогнутыми верхними линиями<sup>11</sup>. Говорили, что в молодости он был похож на Наполеона Первого, особенно когда надевал по – наполеоновски чиновничью треуголку. Но мне трудно было представить Наполеона хромым, а отец всегда ходил с палкой и слегка волочил левую ногу...

На лице его постоянно было выражение какой-то затаенной печали и заботы. Лишь изредка оно прояснялось. Иной раз он собирал нас к себе в кабинет, позволял играть и ползать по себе, рисовал картинки, рассказывал смешные анекдоты и сказки. Вероятно, в душе этого человека был большой запас благодушия и смеха: даже своим поучениям он придавал полуюмористическую форму, и мы в эти минуты его очень любили. Но эти проблески становились с годами все реже, природная веселость все гуще задерживалась меланхолией и заботой. Под конец его хватало уже лишь на то, чтобы дотягивать кое-как наше воспитание, и в более сознательные годы у нас уже не было с отцом никакой внутренней близости... Так он и сошел в могилу, мало знакомый нам, его детям. И только долго спустя, когда миновали годы юношеской беззаботности, я собрал черта за чертой, что мог, о его жизни, и образ этого глубоко несчастного человека ожил в моей душе – и более дорогой, и более знакомый, чем прежде.

Он был чиновник. Объективная история его жизни сохранилась поэтому в «послужных списках». Родился в 1810 году, в 1826 поступил в писцы... Умер в 1868 году в чине надворного

---

<sup>9</sup> *Мой отец* – Галактион Афанасьевич Короленко. Родился 26 декабря 1810 года в г. Летичеве, Подольской губ. Умер 31 июля 1868 года в г. Ровно. Некоторые черты своего отца Владимир Галактионович воспроизвел в образе судьи в повести «В дурном обществе».

<sup>10</sup> ...миргородского казачьего полковника. – В семейном архиве Короленко сохранилась копия старинного документа, из которого видно, что упомянутый здесь миргородский казачий полковник назывался Иван Король. Жил в XVII веке.

<sup>11</sup> ...с сильно изогнутыми верхними линиями. – Ни одного портрета Галактиона Афанасьевича не существует; по семейному преданию, он никогда не фотографировался.

советника... Вот скудная канва, на которой, однако, вышиты были узоры всей человеческой жизни... Надежды, ожидания, проблески счастья, разочарование... Среди пожелтевших бумаг сохранилась одна, собственно ненужная впоследствии, но которую отец сберег как воспоминание. Это – полуофициальное письмо князя Васильчикова<sup>12</sup> по поводу назначения отца уездным судьей в город Житомир. «Суд этот, – пишет князь Васильчиков, – по случаю присоединения к нему магистрата, принимая более обширный, а следственно, и более важный круг действий, требует председательствующего, который бы, вполне постигая свое назначение, дал судопроизводству удовлетворительное начало»<sup>13</sup>. В этих видах князь и выбирает отца. В конце письма «вельможа» с большим вниманием входит в положение скромного чиновника, как человека семейного, для которого перевод сопряжен с неудобствами, но с тем вместе указывает, что новое назначение открывает ему широкие виды на будущее, и просит приехать как можно скорее... Последние строки вписаны автором письма собственноручно, и тон проникнут уважением. Это была скромная, теперь забытая, неудавшаяся, но все же реформа, и блестящий вельможа, самодур и сатрап, как все вельможи того времени, не лишенный, однако, некоторых «благих намерений и порывов», звал в сотрудники скромного чиновника, в котором признавал нового человека для нового дела...

Это было... в 1849 году, и отцу предлагалась должность уездного судьи в губернском городе. Через двадцать лет он умер в той же должности в глухом уездном городишке...

Итак, он был по службе очевидный неудачник...

Для меня несомненно, что это объясняется его донкихотскою честностью.

Среда не очень ценит исключения, которых не понимает, и потому беспокоится... Каждый раз на новом месте отцовской службы неизменно повторялись одни и те же сцены: к отцу являлись «по освященному веками обычаю» представители разных городских сословий с приношениями. Отец отказывался сначала довольно спокойно. На другой день депутации являлись с приношениями в усиленном размере, но отец встречал их уже грубо, а на третий бесцеремонно гнал «представителей» палкой, а те толпились в дверях с выражением изумления и испуга... Впоследствии, ознакомившись с деятельностью отца, все проникались к нему глубоким уважением. Все признавали, от мелкого торговца до губернского начальства, что нет такой силы, которая бы заставила судью покривить душою против совести и закона, но... и при этом находили, что если бы судья вдобавок принимал умеренные «благодарности», то было бы понятнее, проще и вообще «более по – людски»...

Уже в период довольно сознательной моей жизни случился довольно яркий эпизод этого рода. В уездном суде шел процесс богатого помещика, графа Е – ского, с бедной родственницей, кажется, вдовой его брата. Помещик был магнат с большими связями, средствами и влиянием, которые он деятельно пустил в ход. Вдова вела процесс «по праву бедности», не внося гербовых пошлин, и все предсказывали ей неудачу, так как дело все-таки было запутанное, а на суд было оказано давление. Перед окончанием дела появился у нас сам граф: его карета с гербами раза два – три останавливалась у нашего скромного домика, и долговязый гайдук в ливрее торчал у нашего покосившегося крыльца. Первые два раза граф держался величаво, но осторожно, и отец только холодно и формально отстранял его подходы. Но в третий раз он, вероятно, сделал прямое предложение. Отец, внезапно вспыхнув, обругал аристократа каким-то неприличным словом и застучал палкой. Граф, красный и взбешенный, вышел от отца с угрозами и быстро сел в свою карету...

---

<sup>12</sup> Васильчиков И. И. – киевский, волынский и подольский генерал-губернатор в 1852–1862 годах.

<sup>13</sup> «...дал судопроизводству удовлетворительное начало». – Городовые магистраты являлись судебно-административными учреждениями, суду которых были подведомственны все уголовные и гражданские дела, возникавшие между лицами купеческого и мещанского сословия. Во время генерал-губернаторства кн. Васильчикова магистраты во всех городах Юго-Западного края, кроме Киева, были соединены с уездными судами.

Вдова тоже приходила к отцу, хотя он не особенно любил эти посещения. Бедная женщина, в трауре и с заплаканными глазами, угнетенная и робкая, приходила к матери, что-то рассказывала ей и плакала. Бедняге все казалось, что она еще что-то должна растолковать судьбе; вероятно, это все были ненужные пустяки, на которые отец только отмахивался и проносил обычную у него в таких случаях фразу:

– А! Толкуй больной с подлекарем!.. Все будет сделано по закону...

Процесс был решен в пользу вдовы, причем все знали, что этим она обязана исключительно твердости отца... Сенат как-то неожиданно скоро утвердил решение, и скромная вдова стала сразу одной из богатейших помещиц не только в уезде, но, пожалуй, в губернии.

Когда она опять явилась в нашу квартиру, на этот раз в коляске, – все с трудом узнавали в ней прежнюю скромную просительницу. Ее траур кончился, она как будто даже помолодела и сияла радостью и счастьем. Отец принял ее очень радушно, с той благосклонностью, которую мы обыкновенно чувствуем к людям, нам много обязанным. Но когда она попросила «разговора наедине», то вскоре тоже вышла из кабинета с покрасневшим лицом и слезами на глазах. Добрая женщина знала, что перемена ее положения всецело зависела от твердости, пожалуй, даже некоторого служебного героизма этого скромного хромого человека... Но сама она не в силах ничем существенным выразить ему свою благодарность...

Ее это огорчило, даже обидело. На следующий день она приехала к нам на квартиру, когда отец был на службе, а мать случайно отлучилась из дому, и навезла разных материй и товаров, которыми завалила в гостиной всю мебель. Между прочим, она подозвала сестру и поднесла ей огромную куклу, прекрасно одетую, с большими голубыми глазами, закрывавшимися, когда ее клали спать...

Мать была очень испугана, застав все эти подарки. Когда отец пришел из суда, то в нашей квартирке разразилась одна из самых бурных вспышек, какие я только запомню. Он ругал вдову, швырял материи на пол, обвинял мать и успокоился лишь тогда, когда перед подъездом появилась тележка, на которую навалили все подарки и отослали обратно.

Но тут вышло неожиданное затруднение. Когда очередь дошла до куклы, то сестра решительно запротестовала, и протест ее принял такой драматический характер, что отец после нескольких попыток все-таки уступил, хотя и с большим неудовольствием.

– Через вас я стал-таки взяточником, – сказал он сердито, уходя в свою комнату.

На это все смотрели тогда, как на бесцельное чудачество.

– Ну, кому, скажи, пожалуйста, вред от благодарности, – говорил мне один добродетельный подсудок, «не бравший взятку», – подумай: ведь дело кончено, человек чувствует, что всем тебе обязан, и идет с благодарной душой... А ты его чуть не собаками... За что?

Я почти уверен, что отец никогда и не обсуждал этого вопроса с точки зрения непосредственного вреда или пользы. Я догадываюсь, что он вступал в жизнь с большими и, вероятно, не совсем обычными для того времени ожиданиями. Но жизнь затерла его в серой и грязной среде. И он дорожил, как последней святыней, этой чертой, которая выделяла его не только из толпы заведомых «взяточников», но также и из среды добродетельных людей тогдашней золотой середины... И чем труднее приходилось ему с большой и все возрастающей семьей, тем с большей чуткостью и исключительностью он отгораживал свою душевную независимость и гордость...

При этом одна черта являлась для меня впоследствии некоторой психологической загадкой: кругом стояло (именно «стояло», как загнившее болото) повальное взяточничество и неправда. «Чиновники» того самого суда, где служил отец, несомненно, брали направо и налево, и притом не только благодарности, но и заведомые «хабары». Я помню, как один «уважаемый» господин, хороший знакомый нашей семьи, человек живой и остроумный, на одном вечере у нас в довольно многочисленной компании чрезвычайно картинно рассказывал, как однажды он помог еврею – контрабандисту увернуться от ответственности и спасти огромную

партию захваченного товара... Контрабандисты обещали обогатить начинавшего карьеру мелкого чиновника, но... он исполнил их просьбу раньше, чем они свое обещание... Для расчета ему назначили свидание ночью в каком-то уединенном месте, где он и ждал до зари... Я очень живо помню картинное описание этой ночи; чиновник ждал еврея, как «влюбленный свою возлюбленную». Он чутко вслушивался в ночные звуки, он лихорадочно поднимался навстречу каждому шороху... И все общество с захватывающим вниманием следило за переходами от надежды к разочарованию в этой взяточнической драме... Когда же оказалось, что чиновника надули, то драма разрешилась общим смехом, под которым, однако, угадывалось и негодование против, евреев, и некоторое сочувствие к обманутому. Отец был тут же, и моя память ясно рисует картину: карточный стол, освещенный сальными свечами, за ним четыре партнера. Среди них – мой отец, а против него герой контрабандного анекдота, сопровождающий островами каждую бросаемую карту. Отец весело смеется...

Вообще он относился к среде с большим благодушием, оградя от неправды только небольшой круг, на который имел непосредственное влияние. Помню несколько случаев, когда он приходил из суда домой глубоко огорченный. Однажды, когда мать, с тревожным участием глядя в его расстроенное лицо, подала ему тарелку супу, – он попробовал есть, съел две – три ложки и отодвинул тарелку.

– Не могу, – сказал он.

– Дело кончилось? – спросила мать тихо.

– Да... каторга...

– Боже мой! – испуганно сказала мать. – А ты что же?

– А! Толкуй больной с подлекарем, – ответил отец с раздражением: – Я! я!.. Что я могу сделать!

Но затем он прибавил мягче:

– Сделал, что мог... Закон ясен.

Он не обедал в этот день и не лег по обыкновению спать после обеда, а долго ходил по кабинету, постукивая на ходу своей палкой. Когда часа через два мать послала меня в кабинет посмотреть, не заснул ли он, и, если не спит, позвать к чаю, – то я застал его перед кроватью на коленях. Он горячо молился на образ, и все несколько тучное тело его вздрагивало... Он горько плакал.

Но я уверен, что это были слезы сожаления к «жертве закона», а не разъедающее сознание своей вины, как его орудия. В этом отношении совесть его всегда была непоколебимо спокойна, и когда я теперь думаю об этом, то мне становится ясна основная разница в настроении честных людей того поколения с настроением наших дней. Он признавал себя ответственным лишь за свою личную деятельность. Едкое чувство вины за общественную неправду ему было совершенно незнакомо. Бог, царь и закон стояли для него на высоте, недоступной для критики. Бог всемогущ и справедлив, но на земле много торжествующих негодяев и страдающей добродетели. Это входит в неведомые планы Высшей Справедливости – и только. Царь и закон – также недоступны человеческому суду, а если порой при некоторых применениях закона сердце поворачивается в груди от жалости и сострадания, – это стихийное несчастье, не подлежащее никаким обобщениям. Один гибнет от тифа, другой – от закона. Несчастливая судьба! Дело судьи – смотреть, чтобы закон, раз пущенный в ход, прилагался правильно. Но если и этого нет, если подкупная чиновничья среда извращает закон в угоду сильному, он, судья, будет бороться с этим в пределах суда всеми доступными ему средствами. Если за это придется пострадать, он пострадает, но в деле номер такой-то всякая строка, внесенная его рукой, будет чиста от неправды. И в таком виде дело выйдет за пределы уездного суда в сенат, а может быть, и выше. Если сенат согласится с его соображениями, – он будет искренно рад за правую сторону. Если и сенаторов подкупят сила и деньги, – это дело их совести, и когда-нибудь они ответят за это, если не перед царем, то перед богом... Что законы могут быть плохи, это опять

лежит на ответственности царя перед богом, – он, судья, так же не ответственен за это, как и за то, что иной раз гром с высокого неба убивает неповинного ребенка...

Да, это было цельное настроение, род устойчивого равновесия совести. Внутренние их устои не колебались анализом, и честные люди того времени не знали глубокого душевного разлада, вытекающего из сознания личной ответственности за «весь порядок вещей»... Я не знаю, существует ли теперь эта цельность хоть в одной чиновничьей душе в такой неприкосновенности и полноте. Думаю, что нет. Время этого настроения ушло безвозвратно, и уже сознательная юность моего поколения была захвачена разъедающим, тяжелым, но творческим сознанием общей ответственности... Отец умер рано. Если бы он жил дольше, то несомненно мы, молодежь, охваченная критикой, не раз услышали бы от него обычную формулу:

– Та – алкуй больной – с подлекарем!

Причем, конечно, величественным подлекарем являлось бы то высокое и определяющее, что, по его мнению, должно было оставаться вне критики.

Но чем в конце концов закончилось бы это столкновение, – теперь осталось тайной, о которой я думаю часто с печальным сожалением...

### III

## Отец и мать

У отца были свои причины для глубокой печали и раскаяния, которыми была окрашена вся, известная мне, его жизнь...

В молодых годах он был очень красив и пользовался огромным успехом у женщин. По – видимому, весь избыток молодых, может быть, недюжинных сил он отдавал разного рода предприятиям и приключениям в этой области, и это продолжалось за тридцать лет. Собственная практика внушила ему глубокое недоверие к женской добродетели, и, задумав жениться, он составил своеобразный план для ограждения своего домашнего спокойствия...

В Ровенском уезде, Волынской губернии, где он в то время служил исправником, жил поляк – шляхтич средней руки<sup>14</sup>, арендатор чужих имений. Относительно этого человека было известно, что он одно время был юридическим владельцем и фактическим распорядителем огромного имения, принадлежавшего графам В. Старый граф смертельно заболел, когда его сын, служивший в гвардии в Царстве Польском был за что-то предан военному суду. Опасаясь лишения прав и перехода имения в другую линию, старик призвал известного ему шляхтича и, взяв с нет соответствующее обещание, сделал завещание в его пользу. После этого старик умер, сын был сослан на Кавказ рядовым, а шляхтич стал законным владельцем огромных имений... Когда через несколько лет молодой граф, отличавшийся безумною храбростью в сражениях с горцами, был прощен и вернулся на родину, то шляхтич пригласил соседей, при них сдал, как простой управляющий, самый точный отчет по имениям и огромные суммы, накопленные за время управления. Молодой аристократ обнимал его, называл своим благодетелем и клялся в вечной дружбе; но очень скоро забыл все клятвы и сделал какие-то нечестные и легкомысленные посягательства в семье своего благодетеля. Дед оскорбил барчука и ушел от него нищим, так как во все время управления имениями не позволял себе «самовольно» определить цифру своего жалованья. А магнат об этом после ссоры и не подумал...

Таково семейное предание об отце моей матери.

Семья у него была многочисленная (четыре дочери и два сына<sup>15</sup>). Одна из дочерей была еще подросток, тринадцати лет, совсем девочка, ходившая в коротких платьях и игравшая в куклы. На ней именно остановился выбор отца. С безотчетным эгоизмом он, по – видимому, проводил таким образом план ограждения своего будущего очага: в семье, в которой мог предполагать традиции общепризнанной местности, он выбирал себе в жены девочку – полурбенка, которую хотел воспитать, избегая периода девичьего кокетства... Дед был против этого раннего брака, но уступил настояниям своей жены<sup>16</sup>. Формальные препятствия, вытекающие из несовершеннолетия невесты, были устранены свидетельством «пятнадцати обывателей»; из комнаты моей будущей матери вынесли игрушки, короткие платьица сменили подвенечным, и брак состоялся<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> ...поляк-шляхтич средней руки – дед В. Г. Короленко с материнской стороны – Иосиф Казимирович Скуревич (1798–1853). В молодости служил в гусарах, вышел в отставку в чине подпоручика.

<sup>15</sup> ...четыре дочери и два сына. – Дочери: Каролина (1819–1894), в замужестве Туцевич. Эвелина (Ева), мать писателя, родилась в 1833 году в местечке Степань, Волынской губ., Ровенского уезда. Умерла 30 апреля 1903 года в Полтаве, в семье В. Г. Короленко. Анжелика родилась около 1835 года, умерла в годы первой мировой войны. Вышла замуж за учителя Житомирской гимназии Заблоцкого (выведен в «Истории моего современника» под именем Лотоцкого). Впоследствии жила с детьми во Львове, где одно время издавала детский журнал на польском языке. Елизавета (родилась в 1840 году) жила с начала 90-х годов в семье Владимира Галактионовича. Умерла в 1927 году в Полтаве. Сыновья: Брунон (занимался сельским хозяйством, умер в 90-х годах) и Генрих (о нем см. выше прим. к стр. 12).

<sup>16</sup> ...уступил настояниям своей жены – бабушки писателя, Агнии Скуревич (рожд. Рыхлинской). Умерла в конце 80-х годов в глубокой старости, 94 лет.

<sup>17</sup> ...брак состоялся. – Брак Галактиона Афанасьевича Короленко с Эвелиной Иосифовной Скуревич состоялся в 1847

Подвести жизненные итоги – дело очень трудное. Счастье и радость так перемешаны с несчастьем и горем, что я теперь не знаю, был ли счастлив или несчастен брак моих родителей...

Начинался он, во всяком случае, очень тяжело для матери...

Ко времени своей свадьбы она была болезненная девочка, с худенькой, не вполне сложившейся фигуркой, с тяжелой светлорусой косой и прекрасными, лучистыми серо – голубыми глазами<sup>18</sup>. Через два года после свадьбы у нее родилась девочка, которая через неделю умерла, оставив глубокий рубец в ее еще детском сердце. Отец оказался страшно ревнив. Ревность его сказывалась дико и грубо: каждый мужской взгляд, брошенный на его молоденькую жену, казался ему нечистым, а ее детский смех в ответ на какую-нибудь шутку в обществе представлялся непростительным кокетством. Дело доходило до того, что, уезжая, он запирали жену на замок, и молодая женщина, почти ребенок, сидя взаперти, горько плакала от детского огорчения и тяжелой женской обиды...

На третьем или четвертом году после свадьбы отец уехал по службе в уезд и ночевал в угарной избе. Наутро его вынесли без памяти в одном белье и положили на снег. Он очнулся, но половина его тела оказалась парализованной. К матери его доставили почти без движения, и, несмотря на все меры, он остался на всю жизнь калекой...

Таким образом жизнь моей матери в самом начале оказалась связанной с человеком старше ее больше чем вдвое, которого она еще не могла полюбить, потому что была совершенно ребенком, который ее мучил и оскорблял с первых же дней и, наконец, стал калекой...

И все-таки я не могу сказать – была ли она несчастна...

Уже на моей памяти, по чьему-то доносу, возникло дело о расторжении этого брака, и отец был серьезно напуган этим делом. В нашем доме стали появляться какие-то дотоле невиданные фигуры в мундирах с медными пуговицами, которых отец принимал, угощал обедами, устраивал для них карточные вечера. Особенно из этой коллекции консисторских чиновников запомнился мне секретарь, человек низенького роста, в долгополом мундире, фалды которого чуть не волочились по полу, с нечистым лицом, производившим впечатление красной пропускной бумаги с чернильными кляксами. Глаза у него были маленькие, блестящие и быстрые. Прежде чем сесть за обеденный стол, он обыкновенно обходил гостиную, рассматривая и трогая руками находившиеся в ней предметы. И я замечал, что те предметы, на которых с особенным вниманием останавливались его остренькие глазки, вскоре исчезали из нашей квартиры. Так исчезла, между прочим, семейная драгоценность – большой телескоп, в который отец показывал нам луну... Мы очень жалели эту трубу, но отец с печальной шутливостью говорил, что этот долгополый чиновник может сделать так, что он и мама не будут женаты и что их сделают монахами. А так как у неженатых и притом монахов не должно быть детей, то значит, – прибавлял отец, – и вас не будет. Мы, конечно, понимали, что это шутка, но не могли не чувствовать, что теперь вся наша семья непонятным образом зависит от этого человека с металлическими пуговицами и лицом, похожим на кляксу.

Однажды в это время я вбежал в спальню матери и увидел отца и мать с заплаканными лицами. Отец нагнулся и целовал ее руку, а она ласково гладила его по голове и как будто утешала в чем-то, как ребенка. Я никогда ранее не видел между отцом и матерью ничего подобного, и мое маленькое сердчишко сжалось от предчувствия.

Оказалось, однако, что кризис миновал благополучно, и вскоре пугавшие нас консисторские фигуры исчезли. Но я и теперь помню ту минуту, когда я застал отца и мать такими рас-

---

году. Ввиду молодости новобрачной она была оставлена мужем еще на год в родительском доме.

<sup>18</sup>...*лучистыми серо-голубыми глазами*. – Портретов молодой Эвелины Иосифовны не имеется. Все сохранившиеся фотографии относятся уже к позднейшим годам.

троганными и исполненными друг к другу любви и жалости. Значит, к тому времени они уже сжились и любили друг друга тихо, но прочно.

Этот именно тон взаимного уважения и дружбы застаёт моя память во весь тот период, когда мир казался мне неизменным и неподвижным.

Отец был человек глубоко религиозный и, кажется, в своем несчастье видел праведное воздаяние за грехи молодости. Ему казалось, кроме того, что за его грехи должны поплатиться также и дети, которые будут непременно слабыми и которых он не успеет «вывести в люди». Поэтому одной из его главных забот было лечение себя и нас. А так как он был человек с фантазиями и верил в чудодейственные универсальные средства, то нам пришлось испытать на себе благодетельное действие аппретур на руках, фонтанелей за ушами, рыбьего жира с хлебом и солью, кровоочистительного сиропа Маттеи, пилюль Мориссона и даже накалывателя некоего Боншайта, который должен был тысячью мелких уколов усиливать кровообращение. Потом появился в нашей квартире гомеопат, доктор Червинский, круглый человек с толстой палкой в виде кадуцея со змеей. В этот период мой старший брат, большой лакомка, добрался как-то в отсутствие родителей до гомеопатической аптечки и съел сразу весь запас мышьяку в пилюлях. Отец сначала очень испугался, но когда убедился, что брат остался в вожделенном здравии, то... усомнился в гомеопатии...

После этого глубокомысленные сочинения Ганемана<sup>19</sup> исчезли с отцовского стола, а на их месте появилась новая книжка в скромном черном переплете. На первой же странице была виньетка со стихами (на польском языке):

Если хочешь стать крепким, жить долгие годы,  
Купайся, обливайся, пей холодную воду...

Для вящей убедительности на виньетке были изображены три голых человека изрядного телосложения, из коих один стоял под душем, другой сидел в ванне, а третий с видимым наслаждением опрокидывал себе в глотку огромную кружку воды...

Мы, дети, беспечно рассматривали эту виньетку, но истинное значение ее поняли только на следующее утро, когда отец велел поднять нас с постели и привести в его комнату. В этой комнате стояла широкая бадья с холодной водой, и отец, предварительно проделав всю процедуру над собой, заставил нас по очереди входить в бадью и, черпая жестяной кружкой ледяную воду, стал поливать нас с головы до ног. Это было большое варварство, но вреда нам не принесло, и вскоре мы «закалились» до такой степени, что в одних рубашках и босые спасались по утрам с младшим братом в старую коляску, где, дрожа от холода (дело было осенью, в период утренних заморозков), ждали, пока отец уедет на службу. Мать всякий раз обещала отцу выполнить добросовестно по нашем возвращении акт обливания, но... бог ей, конечно, простит, – иной раз в этом отношении обманывала отца... А так как при этом мы весь день проводили, невзирая ни на какую погоду, на воздухе, почти без всякого надзора, то вскоре даже мнительность отца уступила перед нашим неизменно цветущим видом и неуязвимостью...

Эта вера в «книгу и науку» была вообще заметной и трогательной чертой в характере отца, хотя иной раз вела к неожиданным результатам. Так, однажды он купил где-то брошюру, автор которой уверял, что при помощи буры, селитры и, кажется, серного цвета можно изумительно раскармливать лошадей при чрезвычайно скромных порциях обычного лошадиного корма. У нас была тогда пара рослых мерин, над которыми отец и стал производить опыты. Бедные лошади худели и слабели, но отец до такой степени верил в действительность научного средства, что совершенно не замечал этого, а на тревожные замечания матери: как бы лошади от этой науки не издохли, отвечал:

---

<sup>19</sup> Ганеман Самуэль (1755–1843) – немецкий врач, основатель гомеопатии.

– Толкуй больной с подлекарем! Толстеют, а ты говоришь глупости. Правда, Филипп, толстеют?

– А таки потолстели – отвечал хитрый кучер...

«Лошади судьи» прославились по всему городу необычной худобой и жадностью, с которой они грызли коновязи и заборы, но отец замечал только «поправку», пока одна из них не издохла без всякой видимой причины. Я помню выражение горестного изумления и раскаяния, с которыми отец стоял над трупом бедной страдальницы. Другую лошадь он тотчас же велел накормить овсом и сеном без научной приправы и затем, кажется, продал... Впрочем, впоследствии оказалось, что в этой неудаче виновна была не одна наука, но и кучер, который пропивал и то небольшое величество овса, какое полагалось, оставляя лошадей на одной только буре с селитрой... Как бы то ни было, опыт больше не возобновлялся...

По – видимому, у отца бродили еще долго какие-то прежние планы, и он стремился выбиться из крепких тисков серой чиновничьей рутины. То он приобретал телескоп и астрономические сочинения; то начинал изучать математику, то покупал итальянские книги и обзаводился словарями... Вечерние досуги, не занятые писанием бумаг и решений, он посвящал чтению и порой ходил по комнатам, глубоко обдумывая прочитанное. Иной раз он делился своими мыслями с матерью, а иногда даже, если матери не было поблизости – с трогательным, почти детским простодушием обращался к кому-нибудь из нас, детей...

Помню, однажды я был с ним один в его кабинете, когда он, отложив книгу, прошелся задумчиво по комнате и, остановившись против меня, сказал:

– Философы доказывают, что человек не может думать без слов... Как только человек начнет думать, так непременно... понимаешь? в голове есть слова... Гм... Что ты на это скажешь?..

И, не дожидаясь ответа, он начал шагать из угла в угол, постукивая палкой, слегка волоча левую ногу и, видимо, весь отдаваясь проверке на себе психологического вопроса. Потом опять остановился против меня и сказал:

– Если так, то, значит, собака не думает, потому что не знает слов...

– Рябчик понимает слова, – ответил я с убеждением.

– Это что! Мало.

Я был тогда совсем маленький мальчик, еще даже не учившийся в пансионе, но простота, с которой отец предложил вопрос, и его глубокая вдумчивость заразили меня. И пока он ходил, я тоже сидел и проверял свои мысли... Из этого ничего не вышло, но и впоследствии я старался не раз уловить те бесформенные движения и смутные образы слов, которые проходят, как тени, на заднем фоне сознания, не облекаясь окончательно в определенные формы.

– А вот англичане, – сказал отец в другой раз за обедом, когда мы все были в сборе, – предлагают большие деньги тому, кто выдумает новое слово.

– Великая штука! – самонадеянно сказал старший брат, – я сейчас выдумаю.

И он, не задумываясь, брякнул какое-то совершенно ни с чем не сообразное слово. Мы засмеялись.

– А! Дурак! – сказал отец, видимо раздосадованный таким легким отношением к задаче ученых англичан. Но мы все приняли сторону брата.

– Почему же дурак, – когда он действительно выдумал?

– Выдумал, выдумал! А что же оно значит?

– Оно?.. – Брат несколько затруднился, но тотчас же ответил: – Ничего не значит, но новое...

– То-то вот и есть, что ты дурак! Нужно, чтобы значило, и чтобы было с толком, и чтобы другого слова как раз с таким значением не было... А так – мало ли что ты выдумаешь!.. Ученые не глупее вас и говорят не на смех...

– Но все-таки, – прибавил он затем, – выдумать, кажется, можно....

– Некоторые философы думают, – сказал он в другой раз опять за столом, – что бога нет.

– А! Глупости, – сказала мать, – для чего ты повторяешь глупые слова...

– Толкуй больной с подлекарем! – ответил отец. – Это говорят не дураки, а ученые люди...

– Кто же тогда создал мир и человека?

– Один англичанин доказывает, что человек произошел от обезьяны.

– А обезьяна откуда?

Все мы, и отец в том числе, засмеялись.

– Это, конечно, заблуждение разума, – сказал отец и прибавил убежденно и несколько торжественно: – Бог, дети, есть, и он все видит... все. И тяжело наказывает за грехи...

Не помню, в этот или другой раз, он сказал с особенным выражением:

– В писании сказано, что родители наказываются в детях до семьдесят седьмого колена...

Это уже может показаться несправедливым, но... может быть, мы не понимаем... Все-таки бог милосерд.

Только теперь я понимаю, какое значение имело для него это изречение... Он боялся, что мы будем нести наказание за его грехи. И его совесть восставала против несправедливой кары, а вера требовала покорности и давала надежду...

В послужном списке отца значится, что он получил образование в «непривилегированном пансионе» в городе Кишиневе... Очевидно, это образование равнялось «домашнему». Но почти до конца своей жизни он сохранил умственные запросы, и первые понятия, выходящие за пределы известного мне тогда мира, понятия о том, что есть бог и есть какая-то наука, исследующая природу души и начало мира, мы, дети, получили от этого простодушного полуобразованного человека. Эти понятия были наивны и несложны, но, может быть, именно вследствие этой почти детской наивности они глубоко западали в душу и навсегда остались в ней, как первые семена будущих мыслей...

## IV Двор и улица

Тот дом, в котором, казалось мне, мы жили «всегда», был расположен в узком переулке, выбегавшем на небольшую площадь<sup>20</sup>. К ней сходились несколько улиц; две из них вели на кладбища.

Одна из этих последних называлась «шоссе». По ней пробегали почтовые пары с подвязанными колокольчиками, и так как собственно наиболее оживленная часть города здесь кончалась, то иной раз почтари останавливали лошадей и отвязывали колокольчики. Тогда дальше почта трогалась уже со звоном, который постепенно стихал, все удаляясь и замирая, пока повозка, тоже все уменьшаясь, не превращалась в маленькую точку. Эта улица была длинная и прямая. На ней дома чередовались с заборами, пустырями, вросшими в землю хибарками, и перспектива ее заканчивалась вдали купами зелени, свешивавшейся из-за заборов. С одной стороны это было «православное» кладбище, с другой – чей-то обывательский сад. Между этими пятнами зелени все, что удалялось по шоссе за город, мелькало в последний раз и скрывалось в неизвестную и бесконечную даль... Мы с братом часто смотрели от угла нашего переулка или с высоты забора, как исчезали в этой перспективе почтовые повозки, высокие еврейские «балагулы», неуклюжие дилижансы, мужичьи телеги. И когда кого-нибудь хоронили, мы не могли уйти с угла до тех пор, пока похоронный кортеж не достигал этой предельной точки. Тогда бесформенное пятно людской толпы как будто еще раз разворачивалось яснее. Хоругви мелькали и наклонялись под воротами и ветвями деревьев, выравнивался перпендикулярно катафалк, и все это втягивалось в кладбищенскую ограду. Тогда мы знали, что «все кончено»... Первые, наиболее яркие и глубокие впечатления дали связаны у меня с этой длинной перспективой «шоссе», и, быть может, их глубине и некоторой мечтательности, которая и вообще сродна представлениям о дали, содействовала эта связь с похоронами и смертью...

Улица эта немного подымалась по мере удаления, и потому всё приближавшееся по ней к центру города как бы скатывалось вниз... И я еще теперь помню чувство изумления, охватившее меня в самом раннем детстве, когда небольшое квадратное пятно, выползшее в ее перспективе из-за горизонта, стало расти, приближаться, и через некоторое время колонны солдат заняли всю улицу, заполнив ее топотом тысяч ног и оглушительными звуками оркестра. Солдаты были в круглых шапочках без козырьков и в кургузых сильно поношенных кафтанчиках. Офицеры в жестких киверах с султанами или металлическими шишками. Все они шли мерно, в ногу, и было что-то суровое в этом размеренном движении.

Все кругом говорили, что они возвращаются с войны «из-под Севастополя»...

По шоссе проходили также арестанты, звеня кандалами, а один раз провезли какого-то мрачного человека для «торговой казни»... Впереди шел взвод солдат, и четыре барабанщика отбивали суровую, мерную дробь... На каждом шагу барабанщиков барабаны приподнимались на их левой ноге, но дробь лилась безостановочно, такая же мерная и зловещая... За ними ехала телега, па которой была воздвигнута высокая скамья, и к ее спинке были привязаны назад руки сидевшего на ней человека. Голова его, ничем не покрытая, была низко опущена и моталась при встрясках на мостовой, а на груди наклонно висела доска с надписью белыми буквами... И вся эта мрачная фигура плыла высоко над толпой, как бы господствуя над стремительным людским потоком... За телегой шел взвод солдат и бежали густые толпы народа... На площадь, конечно, нас не пустили, но лакей Гандыло, который убежал туда за толпой, рас-

---

<sup>20</sup> ...выбегавшем на небольшую площадь. – Здесь речь идет о Житомире, где семья Короленко прожила до 1866 года.

сказывал потом в кухне с большим увлечением, как на эшафоте палач уложил «смертоубийцу» на «кобылу», как расправлял кнут и при этом будто бы приговаривал:

– Отец и мать тебя не учили, так я тебя научу.

Потом вскрикивал: «берегись, ожгу», и затем по всей площади разносился свист плети и нечеловеческий крик наказываемого... Женщины из нашей прислуги тоже вскакивали и крестились...

Это была, кажется, последняя «торговая казнь» в нашем городе...

Вообще – по длинному прямому шоссе двигалось и в Город, и из города много интересного, нового, иногда страшного...

Другая кладбищенская улица круто сворачивала около нашего переулка влево. Она вела на кладбища – католическое и лютеранское, была широка, мало заселена, не вымощена и покрыта глубоким песком. Траурные колесницы здесь двигались тихо, увязая по ступицы в чистом желтом песке, а в другое время движения по ней было очень мало.

На остром углу это» улицы и нашего переулка стояла полицейская будка, где жил старый будочник (с алебардой, вскоре упраздненной); а за будкой, среди зелени чьего-то сада, высилась огромная «фигура» – старый польский крест с крышкой, прикрывавшей распятую фигуру Христа. Какой-то набожный человек воздвиг ее на этом узлом перекрестке, и она своими распростертыми раменами как бы провожала на вечный покой и тех, что удалялись по шоссе, и тех, которых траурные кони, утопая в песке, тихо увозили на «польское кладбище». А напротив «фигуры» стоял старый – престарелый кабак, дряхлое темное здание, сильно покосившееся и подпертое с улицы бревнами. Там почти беспрестанно пилила скрипица и ухал бубен. Иногда громкий пронзительный женский плач провожавших гробы смешивался с этим диким уханьем и пьяными криками.

Времена были простые.

Двор наш был уютный и тихий. От больших улиц он отделялся двумя каменными домами, по местному «каменицами». В одной из этих камениц жили наши домохозяева, квартира и обстановка которых казались мне верхом роскоши и богатства. Ворота выходили в переулок, и над ними низко свешивались густые ветки старого серебристого тополя. Кучер хозяйской коляски, казавшийся очень важным в серой ливрее, въезжая в ворота, всякий раз должен был низко наклонять голову, чтобы ветки не сорвали его высокую шляпу с позументной лентой и бантом...

Наш флигель стоял в глубине двора, примыкая с одной стороны к каменице, с другой – к густому саду. За ним был еще флигелек, где жил тоже с незапамятных времен военный доктор Дударев.

Хозяин нашего дома был поляк, которого величали «пан коморник» (землемер). Это был очень старый человек, высокий, статный (несмотря на некоторую полноту), с седыми усами и седыми же волосами, подстриженными в кружок. В будни он с самого утра в синем кафтане ходил по двору, хлопоча по хозяйству, как усердный управляющий. По воскресеньям надевал роскошный цветной кунтуш синего или малинового цвета с «вылетами» (откидные рукава), какой-нибудь светлый жупан, широкие бархатные шаровары и рогатую «конфедератку», перепоясывался роскошным поясом, привешивал кривую саблю и шел с молитвенником в костел. Жена (гораздо моложе его) и женщины из ее штата ездили в коляске, запряженной прекрасными лошадьми, но он всегда ходил пешком. Когда он заболел, то приказывал жарко испечь печь в кухне, постелить соломы и, раздевшись, лез туда. Затем он выходил из печи распаренный, пил липовый цвет и на следующее утро опять хлопотал по двору и в конюшне.

Все это я узнал по позднейшим рассказам, а самого Коляновского помню вполне ясно только уже в последние дни его жизни. Однажды он почувствовал себя плохо, прибег к обычному средству, но оно не помогло. Тогда он сказал жене:

– Теперь буду умирать...

Жена призвала докторов. На нашем дворе стали появляться то доктор – гомеопат Червинский с своей змеей, то необыкновенно толстый Войцеховский... Старый «коморник» глядел очень сомнительно на все эти хлопоты и уверенно твердил, что скоро умрет.

В это время я ясно припоминаю себя в комнате больного. Я сидел на полу, около кресла, играл какой-то кистью и не уходил по целым часам. Не могу теперь отдать себе отчет, какая идея овладела в то время моим умом, помню только, что на вопрос одного из посетителей, заметивших меня около стула: «А ты, малый, что тут делаешь?» – я ответил очень серьезно:

– Старого Коляновского караюлю.

У больного зашевелился живот, и он, болезненно улыбаясь, сказал:

– Не укараулишь (*nie dopilnujesz*).

И действительно, я его не укараулил: через два – три дня после этого старый Коляновский лежал, важный и торжественный, на катафалке. Его одели, как в воскресенье, в палевый жупан и синий кунтуш, положили около кривую саблю, а рядом на стуле лежала рогатая конфедератка с пером. Его лицо, красное при жизни, было теперь так же бело, как усы... На следующий день наш двор наполнился множеством людей, принесли хоругви, и огромный катафалк не мог въехать с переулка. Тогда кто-то из дворни влез на ствол серебристого тополя и стал рубить большую нижнюю ветку. Когда она лежала на земле, я смотрел и на нее, и на образовавшийся таким образом пролет над воротами с таким же чувством, как и на странную фигуру Коляновского. Я, может быть, и знал, что это смерть, но она не была мне тогда еще ни страшна, ни печальна... Просто ветка странным образом склонилась листьями к земле, чего с ней прежде никогда не бывало. А Коляновский оделся, чтобы идти в костел, но вместо этого лежит целый день на столе.

После похорон некоторое время во дворе толковали, что ночью видели старого «коморника», как при жизни, хлопотавшим по хозяйству. Это опять была с его стороны странность, потому что прежде он всегда хлопотал по хозяйству днем... Но в то время, кажется, если бы я встретил старика где-нибудь на дворе, в саду или у конюшни, то, вероятно, не очень бы удивился, а только, пожалуй, спросил бы объяснения его странного и ни с чем несообразного поведения, после того как я его «не укараулил»...

В те годы старопольский костюм вышел уже из употребления или даже был запрещен. Но богатый и своенравный «коморник» не уступал новым обычаям, жил и сошел в могилу, верный себе и своему времени. И когда я теперь вспоминаю эту характерную, не похожую на всех других людей, едва промелькнувшую передо мной фигуру, то впечатление у меня такое, как будто это – само историческое прошлое Польши, родины моей матери, своеобразное, крепкое, по – своему красивое, уходит в какую-то таинственную дверь мира в то самое время, когда я открываю для себя другую дверь, провожая его ясным и зорким детским, взглядом...

Жизнь нашего двора шла тихо, раз заведенным порядком. Мой старший брат был на два с половиной года старше меня, с младшим мы были погодки. От этого у нас с младшим братом установилась, естественно, большая близость. Вставали мы очень рано, когда оба дома еще крепко спали. Только в конюшне конюхи чистили лошадей и выводили их к колодцу. Иногда нам давали вести их в поводу, и это доверие очень подымало нас в собственном мнении.

За конюхами просыпались кухарки и шли за дровами в сарай.

В 8 1/2 часов отцу подавали бричку, и он отправлялся в должность. Это повторялось ежедневно и казалось нам законом природы, как и то, что часов около трех мать уже хлопочет около стола. В три часа опять раздавался грохот колес, и отец входил в дом, а из кухни несли суповую миску...

В этот промежуток дня наш двор замирал. Конюхи от нечего делать ложились спать, а мы с братом слонялись по двору и саду, смотрели с заборов в переулок или на длинную перспективу шоссе, узнавали и делились новостями... А солнце, подымаясь все выше, раскаляло

камни мощеного двора и заливало всю нашу усадьбу совершенно обломовским томлением и скукой...<sup>21</sup>

У меня осталось одно странное воспоминание, связанное с часами этого знойного и томительного безделья... К нам во двор забрела кошка с подбитой ногой. Мы стали кормить ее, и она прижилась. Иногда, в жаркий полдень, я разыскивал эту кошку, брал ее с собой на задний двор, где у нас лежали кузова старых саней, и, улегшись в одном из этих кузовов, принимался ласкать ее. Кошка благодарно мурлыкала, лизала мне лицо, глядела в глаза и, казалось, совершенно сознательно отвечала взаимностью на мое расположение и жалость. И это чувство дружбы с животным заполняло минуты, порой даже часы...

Но по мере того как нога у нее заживала и сама она, раскормленная и сытая, становилась благополучнее, ее благодарность исчезала. Прежде она шла на всякий мой зов, появляясь нивесть из каких углов и закоулков, теперь случалось, что она ускользала от меня, явно «прикидываясь», что не слышит.

Так она поступила и в один жаркий день, когда я, рассорившись с братом, почувствовал особенную потребность в ее дружбе. Она проходила мимо садового забора и, когда я ее позвал, попыталась лукаво проскользнуть в щель. Но я все-таки успел захватить ее...

На этот раз она очень холодно отвечала на мои ласки. В глазах ее не было прежней взаимности, и, улучив удобную минутку, она попыталась ускользнуть. Меня охватил гнев. Ее поведение казалось мне верхом неблагодарности, и, кроме того, мне страстно хотелось вернуть наши прежние дружеские отношения. Вдруг в уме мелькнула дикая мысль, что она любила меня, пока ей было больно, а мне ее жалко... Я схватил ее за хвост и перекинул себе через плечо.

Кошка взвизгнула и больно вцепилась когтями в мою спину. Я выпустил ее, и она умчалась, как стрела, а я остался с сознанием своей вины и жгучего стыда... После этого мне стоило много труда залучить ее опять, а когда удалось, то я употребил все меры, чтоб растолковать ей, что я сознаю свою вину и теперь взял ее только для того, чтобы помириться... Дальнейшие наши отношения были мирные, хотя и довольно холодные, но я до сих пор помню эту странную вспышку искусственной жалости под влиянием томительного безделья на раскаленном и до скуки знакомом дворе...

Что делать! Всякое чувство имеет цену, лишь пока свободно. Попытки вернуть его во что бы то ни стало и в людских отношениях кончаются по большей части царापинами...

---

<sup>21</sup> ...обломовским томлением и скукой... – Воспоминания об этих послеобеденных часах на раскаленном солнцем дворе и о развлечениях и играх, какие изобретали для себя два мальчика, послужили материалом для рассказа «Парадокс».

## V

### «Тот свет». – Мистический страх

Мне трудно вспомнить, когда я в первый раз услышал о «том свете». Вероятно, это потому, что слышал я это очень рано, и слова явились гораздо ранее, чем их значение.

Я знал с незапамятных времен, что у нас была маленькая сестра Соня, которая умерла и теперь находится на «том свете», у бога. Это было представление немного печальное (у матери иной раз на глазах бывали слезы), но вместе светлое: она – ангел, значит, ей хорошо. А так как я ее совсем не знал, то и она, и ее пребывание на «том свете» в роли ангела представлялось мне каким-то светящимся туманным пятнышком, лишенным всякого мистицизма и не производившим особенного впечатления...

Потом на «тот свет» отправился пан Коляновский, который, по рассказам, возвращался оттуда по ночам. Тут уже было что-то странное. Он мне сказал: «не укараулишь», значит, как бы скрылся, а потом приходит тайком от домашних и от прислуги. Это было непонятно и отчасти коварно, а во всем непонятном, если оно вдобавок сознательно, есть уже элемент страха...

Еще года через два или три «тот свет» глянул на нас, как зарница из темной тучи, зловеще ощутительно и ясно...

У нас был знакомый мальчик и сверстник, Славек Лисовский. Я не знаю, что это за имя, но его так звали, и нам имя нравилось, как и он сам. Он ходил в коротенькой курточке и носил белые воротнички, был тонок и высок не по летам. Когда он пришел в первый раз, то сначала и он, и его походка, и его кургузая курточка, и белые воротнички с манжетами показались нам необыкновенно смешными. Но уже через полчаса после первого знакомства в этом долговязом мальчике вспыхнула такая масса непосредственного веселья и резвости, что мы были совершенно очарованы. И каждый раз, когда он приходил к нам, у нас начинался живой веселый кавардак, часто переходивший далеко за обычные границы наших шалостей.

Однажды он был у нас почти весь день, и нам было особенно весело. Мы лазали по заборам и крышам, кидались камнями, забирались в чужие сады и ломали деревья. Он изорвал свою курточку на дикой груше, и вообще мы напроказили столько, что еще дня два после этого все боялись последствий.

Совесть у всех была неспокойна.

И вот, на третий день, часа в три, вскоре после того как на дворе прогремели колеса отцовской брички, нас позвали не к обеду, а в кабинет отца.

Мы были уверены, что дело идет о наказании, и вошли в угнетенном настроении. В кабинете мы увидели мать с встревоженным лицом и слезами на глазах. Лицо отца было печально.

– Дети, – сказал он, увидев нас, – я должен вам объявить печальную и страшную новость: Славек вчера вечером умер.

Я помню, что никто из нас не сказал на это ни одного слова, и, я думаю, старшим могло показаться, что известие не произвело на детей никакого впечатления. Мы тихо вышли из комнаты и сели за стол. Но никто из нас не радовался, что отцовская гроза миновала. Мы чувствовали какую-то другую грозу, неведомую и мрачную...

На следующий день нас взяли на похороны Славка. Жили они на песчаной кладбищенской улице, почти у самого кладбища, и я в первый раз почувствовал, что такое смерть... Славек, такой же тонкий, еще как будто выше ростом, в такой же темно-зеленой курточке с белыми воротничками лежал на столе, как и пан Коляновский – совершенно белый и неподвижный. Кругом горели желтым пламенем траурные свечи, воздух был спертый, насыщенный чем-то особенным, в комнате слышались тихие разговоры и вздохи. А когда Славка, подняв вместе с гробом на плечи, понесли из комнаты на двор, то мать его громко кричала и билась на руках у людей, прося, чтобы и ее зарыли в землю вместе с сыном, и что она сама виновата в его смерти.

Вечером у нас на кухне прислуга шопотом передавала, что Славка родители высекли за разорванную куртку и за шалости. Он целовал у них руки, обещал, что никогда больше не будет, просил хоть на этот раз простить его и лучше очень больно высечь когда-нибудь в другой раз, потому что теперь он непременно умрет. «Значит, душа его знала», – прибавляли при этом многозначительно. Но родители не поверили и все-таки высекли. В ту же ночь с ним сделался сильный жар, позвали доктора... а к следующему вечеру он умер, кажется, «от горла»...

Весь день у нас только и было разговоров об этой смерти. У матери вид был испуганный: она боялась за нас (хотя тогда не так еще верили в «заразу») и плакала о чужом горе. Кажется, именно в этот день вечером пришел к нам пан Скальский, большой приятель отца и мой крестный. У него год назад умер сын в киевском корпусе. Горе его еще не совсем улеглось, а теперь ожило, и он рассказывал о том, как он узнал о смерти сына. По вызову начальника корпуса он приехал в Киев, но это было уже вечером, и идти в корпус было поздно. Он остановился невдалеке, в какой-то гостинице, и долго сидел у открытого окна. Ночь была теплая, ясная, тихая... его не покидали мысли о больном сыне. Наконец он запер окно и потушил свечу...

– И вдруг, – так приблизительно рассказывал Скальский печально – спокойным и убежденным голосом, – слышу: кто-то стучится в окно... вот так: раз, два и три... Я встал с постели, подошел к окну... Никого, да и окно во втором этаже... Лег опять и опять слышу: стук – стук, стук – стук... тихонько, будто кто просится в комнату. А луна светит ярко, так все и заливают... Встал я опять, подошел к окну, гляжу: в нижнее стекло бьется что-то... маленький комочек такой, бьется и стучает... Я опять отошел, и вдруг сердце у меня так и упало... Бросился к окну, открываю...

– И что же? – опросил отец.

– Жук... – ответил Скальский с печальной серьезностью.

– Жук?

– Да, жук... большой, темный... Отлетел от окна и полетел... по направлению, где корпус. А месяц! Все видно, как днем. Я смотрел вслед и некоторое время слышал... ж – ж-ж... будто стонет. И в это время на колокольне ударили часы. Считаю: одиннадцать.

– Что ж такое? – сказал опять отец спокойно. – Ну, прилетел жук, и больше ничего.

– Погоди, – ответил Скальский. – На следующее утро иду в корпус. Спрашиваю швейцара: как мне увидеть сына? «Ступайте, говорит, ваше благородие в мертвецкую»... Потом... рассказали: умер ровно в одиннадцать ночи... – И значит – это его я не пустил в комнату. Душа прилетала прощаться...

– А! Толкуй больной с подлекарем! – сказал отец. – Забобоны и бабьи сказки. Мальчик умер от болезни, а жук ни при чем. Мало ли летает жуков?

– Нет, не говори... Так он стучался... особенно. И потом летел и стонал. А я глядел, и сердце у меня рвалось за ним...

Отец был человек глубоко религиозный, но совершенно не суеверный, и его трезвые, иногда юмористические объяснения страшных рассказов в значительной степени рассеивали наши кошмары и страхи. Но на этот раз во время рассказа о сыне и жуке каждое слово Скальского, проникнутое глубоким убеждением, падало в мое сознание. И мне казалось, что кто-то бьется и стучит за стеклом нашего окна...

Спать мы легли в этот вечер несколько позже обыкновенного, и среди ночи я проснулся в слезах. Мне привиделся страшный сон, подробности которого я не мог вспомнить совсем ясно, но в каком-то спутанном клубке смутных образов я все-таки видел Славка, слышал какие-то его просьбы, мольбы и слезы... Сердце мое сжималось от глубокой жалости, но вместе и от страха. В другой комнате на полу горела свеча, слышалось дыхание спавших братьев и сестры, а за окном вздыхал ветер... Я знал, что там, за окнами, наш двор, дорожки сада, старая беседка в конце аллеи... Но от одной мысли, что по этим знакомым местам, быть может, ходит теперь старый Коляновский и Славек, – страх и жалость охватывали меня до боли... Я заплакал.

Мать, которая часто клала меня с собой, услышала мой тихий плач, проснулась и стала ласкать меня. Я схватил ее руку, прижался к ней и стал целовать. Ощущение ее теплого живого тела и ее любящая ласка меня успокоили, и я вскоре заснул. Но, и засыпая, я чувствовал, что где-то тут близко, за запертыми ставнями, в темном саду, в затканых темнотою углах комнат есть что-то особенное, печальное, жуткое, непонятное, насторожившееся, страшное и – живое таинственной жизнью «того света»... А жизнь «того света» почему-то враждебна нашей жизни...

Таким образом мистический ужас уже был готов в наших детских душах, и, конечно, его только раздувала окружающая нас среда. У моей сестренки, которая была моложе меня на два с половиной года, была старая нянька, которая должна была присматривать и за нами<sup>22</sup>. Это было маленькое существо, с морщинистым лицом и большой «кичкой» на голове, отчего голова казалась огромной. Она знала много страшных рассказов, больше, впрочем, из разбойничьего быта. Особенное впечатление производил на нас рассказ о матери и дочери. Разбойник ночью застал в доме только мать с дочерью и стал требовать денег. Мать сказала, что деньги в погребе, и повела туда разбойника. Дочь шла впереди «с каганцем» (светильня), разбойник за ней, а мать сзади. И вот, когда разбойник вошел в погреб, мать захлопнула дверь... Дочь осталась с разбойником.

Дальнейшее представляло короткую поэму мучительства и смерти. Дочь из погреба молит мать открыть дверь... – Ой, мамо, мамо! Відчиніть, бо він мене заріже... – «Ой, доню, доню, нещасна наша доля... Як відчиню, то заріже обоих...» – Ой, мамо, мамо, – молит опять дочь... – И шаг за шагом в этом диалоге у запертой двери разворачивается картина зверских мучений, которая кончается последним восклицанием: – Не відчиняйте, мамо, бо вже мені й кишки висотав... – И тогда в темном погребе все стихает...

Старуха сама оживала при этих рассказах. Весь день она сонно щипала перья, которых нащипывала целые горы... Но тут, в вечерний час, в полутемной комнате, она входила в роли, говорила басом от лица разбойника и плачущим речитативом от лица матери. Когда же дочь в последний раз прощалась с матерью, то голос старухи жалобно дрожал и замирал, точно в самом деле слышался из-за глухо запертой двери...

Этим она пыталась нас усыпить, но, разумеется, сон улетал, как испугнутая птица, и, закрываясь с головой от страшного впечатления, мы засыпали только глубокой ночью...

Настоящую поэзию мистического ужаса выпитывали мы на кухне в длинные зимние вечера, когда родители уезжали в гости, а мы подолгу засиживались с дворней. На кухне было тепло, стоял какой-то особенный сытный запах, по стенам медленно ползали тараканы, звенели сверчки, жужжало веретено, и «пани Будзиньская», наша кухарка, рассказывала разные случаи из своего детства. Она была тоже стара, но выглядела очень бодрой и уважаемой. Отец ее в старые годы «чумаковал», то есть ходил с обозами в Крым за рыбой и солью, а так как мать ее умерла рано, то отец брал ее с собой... Таким образом ее детство прошло в чумацких валках, в странствованиях по степям на скрипучих возах, с ночлегами в степи. При этом она видела «своими очима» много таинственного и чудесного.

Раз отец отстал от валки... Ночь была ясная, как день (большинство ее страшных рассказов происходило именно в ясные ночи). Месяц светил с высокого неба, и в степи видна была каждая травинка. Она заснула на возу, но вдруг проснулась. Отец шел рядом с возом и бормотал что-то, подгоняя волов. Девочка оглянулась по степи и увидела далеко, под небольшим лесочком, над балкой, белую фигуру. – Тату, – сказала она отцу, – от там кто-то белый идет под лесом. – «Молчи, доню, – ответил ей шопотом отец, – говори скорее отче – нашу». Она стала молиться, как умела, а белая фигура быстро неслась по кругу, сначала по самому краю степи, а потом все приближаясь и приближаясь к возу. И по мере того как она приближалась,

---

<sup>22</sup> ...должна была присматривать и за нами. – Образ этой няньки нарисован в рассказе «Ночью».

было видно, что это – женщина, и что глаза у нее закрыты, и что она все растет, растет выше лесу, до самого неба. «Молись, доню, крепче, – просил отец, – твоя молитва сильнее». И оба они кричали в глухой степи все молитвы, какие только знали, все громче и громче... И тогда фигура с закрытыми глазами, будто ее кто отталкивал, стала удаляться опять по кругу, пока не сделалась маленьким белым пятном под лесом. А тут уже замигали и огни чумацкого табора...

В другой раз они опять отстали от табора и ночью должны были переезжать через болота по длинной гребле, в конце которой стояла мельница. Ночь, конечно, опять была ясная, как день, а на мельницах и в бучилах, как это всем известно, водится нечистая сила... Девочка опять не спала на возу и, взъехав на греблю, увидела, что стороной за возом бежит что-то маленькое, «як мыша». – Тату, – сказала она задремавшему отцу, – вот за возом мыша бежит. – Отец оглянулся и тотчас же стал креститься. – «Говори, доню, отче – нашу»... Оба опять стали молиться, а мыша выросла в крысу, потом стала, как кошка, потом, как лисица, как волк и, наконец, как медвежонок. Медвежонок вырос в медведя и все продолжал расти, так что когда они подошли к концу гребли и поравнялись с мельницей, то он был уже выше мельничной крыши. Но тут оказалось опять, на счастье путников, что чумацкая валка расположилась ночевать на лугу за мельницей, так что оттуда слышались уже говор, песни и крики. Нечистый, увидев огни и такую силу крещеного народу, вдруг поднялся на дыбы, что-то «загуло», как ветер, и медведь кинулся в омут...

Отец присоединился к табору и попросил, чтобы его с возом пустили в середину. Чумаки, видя, что с человеком случилось такое происшествие, признали его требование справедливым, раздвинули возы и очистили ему место. Отец, кроме того, был человек «знающий» и потому, прежде чем лечь спать, обвел круг кнутовищем около своей телеги, закрестил его и заговорил заговорами. Ночью кто-то, очевидно, искал среди спящего табора именно его и его дочку. Наутро весь табор оказался в полном беспорядке, как будто невидимая сила перетрясла его и перешвыряла так, что возы оказались перемешаны, хозяева очутились на чужих возах, а иных побросало даже совсем вон из табора в степь...

Это были два самых ярких рассказа пани Будзиньской, но было еще много других – о русалках, о ведьмах и о мертвецах, выходивших из могил. Все это больше относилось к прошлому. Пани Будзиньская признавала, что в последнее время народ стал хитрее и поэтому нечисти меньше. Но все же бывает...

На один из таких рассказов вошла в кухню моя мать и, внимательно дослушав рассказ до конца, сказала:

– Вот ты, Будзиньская, старая женщина, а рассказываешь такие глупости... Как тебе не стыдно? Перепились твои чумаки пьяные, вот и все...

Будзиньская очень обиделась:

– Я еще вовек не лгала, – ответила она с большим достоинством, – а паны, дело известное, ничему не верят.

Я был в большом недоумении. Страшные рассказы положительно подавляли наши детские души, и, возвращаясь из кухни вечером, мы с великим страхом проходили мимо темного отверстия печки, находившегося в середине коридора и почему-то никогда не закрывавшегося заслонками. Нам казалось, что оттуда вдруг протянется чья-то рука, или мохнатая, черная, как у медведя, или, наоборот, белая, как у Коляновского или Славка... Иной раз, поравнявшись с этим отверстием, мы кидались бежать, как сумасшедшие, и прибегали в спальню запыхавшиеся и бледные... Уверенность матери, что все это пустяки, вносила успокоение. И когда я теперь вспоминаю мою молодую красавицу – мать в этой полутемной кухне, освещенной чадным сальным каганчиком, в атмосфере, насыщенной подавляющими душу страхами, то она

рисуетя мне каким-то светлым ангелом, разгоняющим эти страхи уже одной своей улыбкой неверия и превосходства<sup>23</sup>.

Но вместе с тем чувствовалось, что пани Будзиньская не лгунья и что в ее рассказах нет намеренной лжи.

Поэтому мы все больше и больше попадали во власть «того света», который казался нам наполненным враждебной и чуткой силой... Однажды старший брат страшно закричал ночью и рассказал, что к нему из соседней темной комнаты вышел чорт и, подойдя к его кровати, очень изящно и насмешливо поклонился.

После этого с нами нередко повторялись галлюцинации. Я, кажется, был самый нервный из моих братьев и потому испытывал наиболее мучений. Они засыпали раньше, а я долго ворочался в постели, вздрагивая от каждого шума... Особенно бывало страшно, когда уезжали родители, а это случалось довольно часто. Отец, после того как миновали припадки его ревности, как будто старался вознаградить мать и потому вывозил ее на вечера, где она танцевала, а он играл в шахматы... В такие вечера горничные уходили на кухню или даже к соседям, а с нами оставалась старая нянька, которая тоже засыпала. Я боялся оставаться один, боялся пройти по темному коридору в кухню, боялся лечь в постель. Иной раз я так и засыпал от напряжения, сидя где-нибудь в углу на сундуке и глядя в темную комнату. В темноте роились образы, неясные, спутанные, и порой они выступали вперед. Чаще всего это был высокий щеголеватый господин, в котором, в сущности, не было ничего страшного, кроме того, что он крадется в темноте. По – видимому, он вызывался усталостью глаз, потому что всегда проносился по дуговой линии, как это бывает с теми сеточками, какие иногда видишь в глазу и которые тотчас убегают, как бы закатываясь, когда хочешь разглядеть. Тот же господин появлялся и в кошмарах, но наибольший ужас я испытывал при появлении в кошмаре какого-то офицера. Он обыкновенно выходил из темноты и на несколько мгновений останавливался неподвижно. Лицо у него было обыкновенное, кажется, даже довольно красивое, но черты не запоминались, а оставалось только впечатление бледности... После остановки он наклонялся и начинал подходить ко мне, и это было самое страшное... Он все ускорял шаги, затем нас обоих подхватывал какой-то вихрь, и мы среди особенного шума неслись с ним опять по закатывающейся круговой линии куда-то в бездонную пропасть...

Я просыпался весь в поту, с бьющимся сердцем. В комнате слышалось дыхание, но привычные звуки как будто заслонялись чем-то вдвинувшимся с того света, чужим и странным. В соседней спальне стучит маятник, потрескивает нагоревшая свеча. Старая нянька вскрикивает и бормочет во сне. Она тоже чужая и страшная... Ветер шевелит ставню, точно кто-то живой дергает ее снаружи. Позвякивает стекло... Кто-то дышит и невидимо ходит и глядит невидящими глазами... Кто-то, слепо страдающий и грозящий жутким слепым страданием.

О боге мы слышали чуть не со дня рождения, но, кажется, «верили» в нечистую силу раньше, чем в бога. В эту мучительную полосу моей детской жизни воспоминание о боге было очень бесформенно. При этом слове где-то в глубине сознания рождалось представление о чем-то очень обширном и сплошь светлом, но безличном. Ближе всего будет сказать, что он представлялся мне как бы отдаленным и огромным пятном солнечного света. Но свет не действовал ночью, и ночь была вся во власти враждебного, иного мира, который вместе с темнотой двигался в пределы обычной жизни.

---

<sup>23</sup> ...разгоняющим эти страхи уже одной своей улыбкой неверия и превосходства. – Образ молодой матери Владимира Галактионовича появляется в рассказе «Парадокс», написанном раньше «Истории моего современника». Личностью и отчасти судьбой Эвелины Иосифовны внушен также образ Эвелины в «Слепом музыканте». Автор, давший ей внешность и даже имя своей матери, так характеризует свою героиню: «Есть натуры, как будто заранее предназначенные для тихого подвига любви, соединенного с печалью и заботой, – натуры, для которых эти заботы о чужом горе составляют как бы атмосферу, органическую потребность».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

## **Комментарии**

**1.**

Блоха отплясывает на барабане.